

ЗАОЧНИЦА

Повесть

1

Заочница была миловидна и натуральна. Он мысленно поправил себя: естественна. Но тут же подумал, что это уже будет из психологии, а он имел в виду лишь внешность. У нее были собственного, натурального цвета, не крашенные, черные волосы, и брови не щипанные, не подбритые, поэтому немного широковатые, и густые ресницы, за которыми голубые глаза, тут уж тем более не приходилось сомневаться в их натуральности. Почему он раньше не замечал, что есть у них такая симпатичная заочница? Она уже сдает экзамены за третий курс, а он только теперь обнаружил, что она такая хорошенькая. Кажется, Станиславский говорил, что мужчина с возрастом становится все более эстетическим в восприятии мира и женщин. Ну, вот, видно, и он достиг такого возраста.

Профессор кафедры культурологии Владимир Михайлович Вихров поерзал на стуле, стараясь сесть так, чтобы заочница не заметила, как он к ней приглядывается. Он чувствовал, что эта девушка (или женщина?) влечет его не только эстетически. Она сидела за столом, готовилась к ответу, а он поглядывал на нее, на ее маленький рот с беспокойными губами, видимо, от волнения, все-таки экзамен сдает; ему казалось, что она вся, вообще, всегда беспокойна, с повышенным эмоциональным восприятием; если она сейчас встанет и пойдет, то все ее движения будут быстры, стремительны, такие натуры способны на самые неожиданные и решительные поступки, способны влюбляться до самозабвения, отдаваться любви полностью, всем своим существом. Вот до чего он додумался, чувствуя, что заочница пробуждает в нем давно не испытываемые ощущения и желания. Как же получилось, что он ничего о ней не знает или не помнит, ведь третий год уже человек учится на факультете? Владимир Михайлович открыл зачетку заочницы и прочитал, что ее зовут Анна Николаевна Немова. И он тут же вспомнил, что знает эту фамилию, помнит, как эта Немова уже однажды чем-то его удивила, надо вспомнить. А вот на фотографии было совсем другое лицо, совершенно девчоночье, с сурово сдвинутыми широкими бровями; видно, и в более раннем возрасте она была способна на решительные поступки. Правда, сейчас ее лицо стало более женственным, тогда он решил, что Немова, конечно, уже женщина, познавшая плотское удовольствие; и это его заключение вызвало в нем краткое чувство, похожее на ревность: ты, оказывается, уже с кем-то была близка, была в объятиях чьей-то страсти! Но эта догадка только раззадорила его воображение.

Невольно вспомнилась собственная супруга, Раиса, с которой он уже привычно, перед уходом на работу, на пороге, успел обменяться колкостями. Жена его решила, что она демократ, мыслящий прогрессивно и правильно, а супруг ее застрял в старом совковом состоянии и поэтому не может принять ни новых идей, ни новых реалий. Она именно так выражалась, успев усвоить расхожую лексику радио-газетно-телевизионной болтовни. Она и внешность свою изменила соответственно новым взглядам, подстригла волосы до степени мужского полубокса, закрасив седину какой-то неопределимой словами краской, носила брюки, отчего ее и без того плоская фигура вовсе становилась доскообразной. Старуха ведь, считай уже, а все за молодыми тянется; кажется, он догадывался, кому подражает его Раиса, скорее всего, ее кумиром стала одна из руководителей Союза правых сил с японо-русской внешностью, вот она и одевается по-новому и говорит с ним столь уверенным тоном, будто только ей известны все истины и тайны социальной жизни. Раиса ушла на пенсию с должности научного сотрудника (все-таки кандидат исторических наук) областного краеведческого музея и предалась политике, несколько раз попадала в состав участковых избирательных комиссий, была наблюдателем на выборах от своей партии, ходила на собрания и диспуты и попрекала супруга за отсталость.

Вот и сегодня, на пороге, она успела попенять ему, что он не читал какую-то статью в областной газете, где представитель местного отделения партии правых рассказывает об их программе, а он, Владимир Михайлович, отстаёт от жизни, не понимает, какие необратимые демократические изменения уже произошли в стране. На что Владимир Михайлович ответил:

«А ты что-нибудь слышала о Поле Дельво?»

Раиса похлопала жиденькими ресничками и неуверенно сказала:

«Наверное, какой-нибудь современный коммуняка? Француз?»

«Нет, бельгиец. И не коммуняка, а знаменитый художник».

«Он-то при чем здесь? Я тебе о другом говорю!»

«А для меня художник важнее твоих правых».

Да! Дельво! Он умер в 1994 году, известен и знаменит в Бельгии, как Гоген или Ренуар во Франции, а для него абсолютно не знаком. Вот о чем стоит подумать! Он захватил с собой две статьи и журнальные снимки с картин бельгийского художника, зная, что у него сегодня консультационный день, но специально он никого из студентов не приглашал, поэтому рассчитывал, что сможет неторопливо перечитать статьи и еще раз рассмотреть картинки из журнала, чтобы сделать для себя какие-то выводы и ответить своему немецкому приятелю. Но неожиданно пришла заочница, и все равно у него и теперь есть время подумать над присланными из Германии сведениями о Поле Дельво.

Они познакомились на международном философском симпозиуме в Мюнхене, встретились в один из перерывов на выставке современного модернистского искусства, разговорились. Нового знакомого звали Юлиан Сосновски, он просил называть себя Юл, а Вихрова стал звать Вольдемаром. Юл неплохо владел русским, во всяком случае, все понимал, лишь иной раз испытывал нехватку слов, ну и, конечно, замечен был акцент; скорее всего, он был по происхождению из поляков или даже из русских — Сосновский, сразу спрашивать было неловко, а позже, когда между ними установилась переписка, и вовсе было ни к чему выяснять этнические корни. Вихров перед поездкой в Германию усиленно занимался немецким, который учил только в школе, и кое-что стал понимать на уровне бытового общения и просматривая программы симпозиума. И вот у полотен современных модернистов, постмодернистов, суперреалистов и прочих, и прочих Вихров ходил с нескрываемой ехидной ухмылкой, что и заметил Сосновски, который был в числе тех, кто всерьез и даже с восхищением обсуждали картины; Вихров улавливал отдельные слова, произносимые чаще всего по-немецки.

Сосновски подошел и сказал, сразу угадав, что Вихров русский:

«Простите! Мне показалось, что вам не нравятся эти произведения?»

«Конечно! Чему тут нравиться?»

«Это очень современная живопись, соответствующая менталитету сегодняшних людей...»

«В этой живописи нет того, без чего не бывает искусства, нет мастерства!»

«Но, простите, я могу доказать обратное...»

Они оказались на противоположных позициях в своих суждениях о современной живописи. Вихров воспитывался в полуинтеллигентной семье: мать — учительница в младших классах, отец — бухгалтер; и он был убежден, что самая лучшая живопись — это картины русских художников-передвижников, продолжателями которых затем стали советские живописцы, к примеру, Дейнека, Пименов, Корин, Лактионов, кто там еще? Конечно, его вкусы со временем несколько расширились, он не возражал против импрессионистов, он готов был признать, правда, чисто оформительское значение некоторых полотен абстракционистов: почему бы не использовать эти узоры при внутреннем украшении помещений! Но признавал истинной живописью только реалистическую, идущую все от тех же передвижников да вот еще от лучших традиций русского портретного искусства, поэтому он восхищался работами Шилова, а Глазунов уже вызывал у него некоторые сомнения.

А немецкий его знакомец Сосновски придерживался совсем других взглядов и вкусов. Но, тем не менее, их вдруг еще там, в Мюнхене, потянуло друг к другу, возник между ними, как говаривали в старину, некий магнетизм. И они неторопливо беседовали, испытывая взаимное удовольствие от общения. У Владимира Михайловича и в школьные, и в студенческие годы было много добрых товарищей и разнообразных знакомых, но вот закадычного друга не было; и теперь ему показалось, что если бы они с Юлом жили в одной стране, в одном городе, то стали бы истинными друзьями. Такое его ощущение было необъяснимо. Тем более что у них были разные вкусы и разные представления об искусстве.

Первое письмо написал Сосновски, вложив в конверт проспекты нескольких художественных выставок, состоявшихся в Мюнхене. Он ответил с признательностью, так начался и продолжился их заочный разговор и дружеский спор. Юл присылал ему и проспекты, и художественные журналы с репродукциями, и даже несколько монографий о знаменитых художниках, и собственные эссе. Вихрову было неловко, столько тратит денег Юл, а он ничем не может ему ответить, послал, правда, красивую книгу, посвященную четырехсотлетию своего города, конечно, это было неизмеримо мало в сравнении с дарами из Мюнхена.

Между тем, Юл, конечно, хотел обратить его в свою веру, приучить к восприятию современного искусства, объяснить его, насколько можно объяснить эту живопись.

И вот последним по времени стал бельгиец Поль Дельво, сюрреалист. Юл прислал сперва статью из русскоязычного журнала «Магические станции Поля Дельво», с несколькими цветными фотографиями его картин, а потом собственное эссе «Спасутся ли женщины в мире Дельво?». Юл писал, что Дельво «осознал и наглядно показал в своих картинах опасный надлом бытия человечества в нашем веке, «трещину бытия» — по определению Хайдеггера». Это уже было серьезно, требовалось разобраться.

Магические станции казались ему понятными и вызывали знакомые ассоциации: как правило, это были пустые платформы, от которых только что отошел поезд, видны огни последнего вагона, или, наоборот, платформа пуста, потому что поезд еще не прибыл, ожидание. И одинокая фигура женщины, смотрящей в ту

сторону, где скрылся поезд или откуда он должен прийти. Все это было понятно и даже трогательно, тем более что написано вполне реалистически, по законам предметной живописи. Вот только на одной из картин стояли несколько совершенно голых женщин, угаданный смысл исчезал. Видимо, думал Владимир Михайлович, здесь и начинается «сюр».

Женщины с грустными глазами на пустынном перроне — это еще понятно, только почему они совершенно голые? И на других полотнах он рисует нагих женщин или полунагих с тщательно прописанным интимным темновойным треугольником, будто лесной колок среди хлебного поля, а женщина, кажется, нарочито, даже не пытаясь прикрыться, оставляет его на виду. Сокровенное это место выписано художником не только реалистически, а вполне натуралистически. Может быть, это должно выражать полную открытость, незащищенность женщины перед чуждым миром?.. Впрочем, это он уже пытается догадаться о смысле картин. Не только женщины не замечают собственной своей наготы, но и изображенные на многих полотнах мужчины тоже ее не видят; художник соединил два разных мира, которые существуют одновременно, но не пересекаются и ничего не знают друг о друге...

Заочница зашевелилась за столом, и он подумал, что, возможно, она уже готова отвечать, посмотрел на нее и вдруг заметил, что у нее грустные глаза, несомненно грустные, как вот у этих женщин, изображенных на картинах Дельво. А лицо одной даже показалось ему похожим на лицо миловидной заочницы. И только он это уловил, как на мгновение представил себе свою студентку в таком же откровенном виде. Он чувствовал, что у него даже уши покраснели. До такого бесстыдства он давно не докатывался, даже в студенческие годы он не был пошляком и не поддерживал болтовню приятелей на плотские темы. Впрочем, после известных только ему событий, происшедших с ним на практике, в диалектологической экспедиции, он чувствовал себя старше, мудрее своих однокашников, ему тогда открылось такое сокровенное, какое, он в этом не сомневался, не было известно примитивным болтунам. И вот теперь, сию минуту, его стареющее воображение нарисовало то, что ему никак не пристало, и зачем же он обижает эту милую девочку, готовящуюся сдать экзамен, столь вульгарными фантазиями?

Ему и в самом деле было стыдно за свои мысли и он обрадовался, что заочница просто переменила позу, подвинула к себе новые тетрадные листки, а отвечать еще не собирается.

И вдруг ему стало смешно, неудержимо смешно над самим собой. Он достал платок, прикрыл нос и рот, сделал вид, что закашлялся, а сам старался удержать накотившийся дурацкий смех. Кому-нибудь рассказать об этом, обхохочутся, а узнай о его фантазиях Раиса, она бы произнесла грозную и длинную речь о том, что всегда подозревала его в безнравственности, причем непременно добавила бы, что эта безнравственность порождена самим, возлюбленным им, советским строем, заставлявшим людей лицемерить и ханжить. Стало еще смешнее, и он подумал, что придет домой да и расскажет Раисе об этом происшествии, случившемся с ним под влиянием разглядывания картин знаменитого художника Дельво.

Между тем заочница встала и направилась к преподавательскому столу, готова отвечать. Она была невысока, пряма, на ней были синие джинсы, под шерстяной кофтой белая шелковая блузка безукоризненной чистоты, что, конечно, уже характеризовало ее наилучшим образом, ведь заочники живут в общежитии, и не так просто там тщательно следить за платьем. Как и предполагал он, двигалась заочница стремительно, так что принесла с собой движение воздуха, на Владимира Михайловича повеяло живым теплом, ее теплом. Они взглянули друг на друга, и он опять заметил, что у нее действительно печальные глаза.

Когда она заговорила, он тотчас вспомнил ее и первое с ней общение на первом курсе, на втором он не преподавал, потому, видно, и забыл эту Анну Немову. А на первом курсе она тоже успела его удивить, вначале, правда, вызвав недоверчивую усмешку. Он дал задание студентам написать рецензию на любое художественное произведение: живопись, музыку, книгу, спектакль, кинофильм, телевизионную постановку, на любое, по желанию. Немова принесла рецензию на «Лебединое озеро», которое она видела в Большом театре. Тут-то он и усмехнулся: что же ты можешь еще написать после того, что уже написано? Подумалось, что, может быть, переписала откуда-нибудь? Нет, он сразу понял: это не плагиат, это была рецензия, если называть написанное заочницей так, рецензия-воспоминание. В десятом классе вместе с другими успевающими учениками она ездила в зимние каникулы в Москву, и их сводили на «Лебединое озеро». Это оказалось самым сильным впечатлением от всей поездки. В своей рецензии она сообщила все необходимое о постановщиках спектакля, добросовестно переписав с программки фамилии, назвала и всех исполнителей. Более всего ей понравилась Одетта-Одилія, которая, по ее мнению, легко, будто преодолев земное притяжение, птицей взлетала над сценой, а музыка Чайковского волновала до слез. Конечно, строго судя, это была не рецензия, а, как говорили во времена его собственных школьных лет, отзыв. Но заканчивалась ее рецензия-отзыв совершенно неожиданно: Немова написала, что весной они выезжали на вездеходе на дальние лебединые озера. Оказывается, в их северном краю есть такие озера, где с давних пор гнездятся и выводят птенцов лебеди. Каждую весну они возвращаются на родину; вот в это время они и были на этих озерах. Она подробно и вполне выразительно написала, как большая стая белокрылых птиц опустилась на воду и, будто радуясь своему возвращению, снова взлетала и опускалась на воду и кружила по тихой воде, словно в радостном танце. Заочница писала, что она смотрела на этих прекрасных птиц, улавливая их радость, а в памяти, в душе ее звучала великая музыка Чайковского. И даже злой черный